

відіб'є мистецтво: в тих барвах, під тим кутом залому. Це я приручаю дійсність для них. Шліфую, обточую, переливаю в форми слів – возношу до ряхтучого, коштовного *смыслу*” [2, с. 173].

Беручи за основу уявлення про метажанр як синтетичне, синкретичне утворення, що має позародову спрямованість й відмінне від жанру (що базується на працях Н. Лейдермана, Р. Співак, О. Бурліної, Т. Бовсунівської), вважаємо за можливе класифікувати проаналізовані тексти О. Забужко як автобіографію. З одного боку, тексти належать до художньої літератури, документалістики і публіцистики. З іншого – в межах одного тексту нерідко поєднуються ознаки щоденника, записів, листів, біографій, автокоментаря, рецензій, літературознавчих і публіцистичних статей, спогадів, елементів белетристики і публіцистики. Усе це дає нам змогу кваліфікувати автобіографію письменниці як метажанр.

(Усі виділення в тексті – курсив, великі літери, напівжирний шрифт – є авторськими (О. Забужко) – О.Д.)

ЛІТЕРАТУРА

1. Галич О.А. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, генеза, перспективи: [монографія] / О.А. Галич. – Луганськ : Знання, 2001. – 246 с.
2. Жінка як текст : Емма Андіївська, Соломія Павличко, Оксана Забужко : фрагменти творчості і контексти / Упоряд. Л. Таран. – К. : Факт, 2002. – 208 с.
3. Забужко О. Казка про калинову сопілку. – вид 2-е, випр. і доп. / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2001. – 96 с.
4. Забужко О. Сестро, сестро : повісті та оповідання / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2003. – 240 с.
5. Забужко О. Let my reople go : 15 текстів про українську революцію. 2-е вид. випр. / Оксана Забужко – К. : Факт, 2006. – 232 с.
6. Забужко О. Друга спроба : Вибране / Оксана Забужко. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Факт. – 2009. – 432 с.
7. Забужко О. Хроніки від Фортінбраса. Вибрана есеїстика – 4-те вид. / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2009. – 352 с.
8. Забужко О. З мапи книг і людей : збірка есеїстики / Оксана Забужко – Meredian Czernowitz. – Кам'янець-Подільський, ТОВ “Друкарня “Рута”, 2012. – 376 с.
9. Харчук Р.Б. Сучасна українська проза : Постмодерний період : навч. посіб. / Роксолана Харчук. – К. : ВЦ “Академія”, 2008. – 248 с.

УДК 821.161.2 - 3.091 : 821.161.1 - 3.091

ЗАПОРОЖЬЕ ДОСТОЕВСКОГО (О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ)

Дитькова С.Ю., к. пед. н., доцент

Запорожский национальный университет

Статья посвящена специфике изображения города Запорожья в прозе современных писателей Владимира Филя и Павла Вольвача, представляющих русскоязычный и украиноязычный литературные лагеря. Проводится сопоставительный анализ, нацеленный на осмысление субъективного изображения города сквозь призму классических традиций писателей-урбанистов.

Ключевые слова: тенденция, урбанизм, литературная традиция, субъективность в искусстве.

Дитькова С.Ю. ЗАПОРИЖЖЯ ДОСТОЄВСЬКОГО (ПРО ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОЇ ПРОЗИ) / Запорізький національний університет, Україна.

Стаття присвячена специфіці зображення міста Запоріжжя в прозі сучасних письменників Володимира Філя і Павла Вольвача, що представляють російськомовний і україномовний літературні табори. Проводиться порівняльний аналіз, націлений на осмислення суб'єктивного зображення міста крізь призму класичних традицій письменників-урбаністів.

Ключові слова: тенденція, урбанізм, літературна традиція, суб'єктивність у мистецтві.

Ditkova S. DOSTOEVSKY'S ZAPORIZHZHYA (ABOUT SOME TRENDS OF CONTEMPORARY PROSE) / Zaporozhye National University, Ukraine.

The article is devoted to the specifics of the image of the city of Zaporozhye in contemporary prose writers Vladimir Phil and Paul Vol'vach representing the Russian– and Ukrainian– speaking literary camp. Carried out a comparative analysis aimed at understanding the subjective image of the city through the lens of classical traditions writers– urbanists.

Key words: trend, urbanism, literary tradition, subjectivity in art.

Цель данной работы — анализ выявленных нами связей тенденций изображения Запорожья с классическими традициями русской и зарубежной литературы. Особенно нас заинтересовала их связь с так называемой «достоевщиной», весьма специфическим культурным явлением, неизбытым, похоже, не только для русской, но и для современной украинской литературы. Что же мы понимаем под словом «достоевщина»?

Достоевщина – термин, применяемый к особому рода переживаниям. Герои Достоевского, как правило, люди неуравновешенные, остро переживающие противоречия действительности. Им в чрезвычайной мере свойственна рефлексия, порождающая неуверенность в себе и своих силах, постоянные сомнения. Они жгуче осознают собственную ущербность и оторванность от толпы. Обитает молодой депрессивный интеллигент чаще всего не в парадной части мегаполиса, а в районах дешевых меблированных комнат вместе с мелкими чиновниками, студентами и прочими представителями небогатого городского населения. И, как уже было сказано, мечется и страдает.

Скрытая жизнь протагониста открывается чаще всего через внутренние монологи, которые разворачиваются на фоне скудного быта. Стены меблированных комнат оклеены дешевыми, неприятного цвета обоями, серо-желтых оттенков, за окном – серое петербургское небо или двор-колодец. Герой Достоевского не получает удовольствия от еды или элегантной одежды. У него ничего этого нет, да ему и не нужно, ибо мысли рефлексирующего интеллигента обращены вовнутрь себя самого. Идет напряженный анализ состояния человеческой души. И выводы делаются для человечества далеко не лестные.

«Человек есть существо ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение» [1, Т. 4, с. 10], – так охарактеризовал писатель человечество в ходе написания «Записок из мертвого дома», где, опять же, мы видим определенную бытовую атмосферу: «Мне всегда было тяжело возвращаться со двора в нашу казарму. Это была длинная, низкая и душная комната, тускло освещенная салными свечами, с тяжелым, удушающим запахом. Не понимаю теперь, как я выжил в ней десять лет. На нарах у меня было три доски: это было всё мое место. На этих же нарах размещалось в одной нашей комнате человек тридцать народу. Зимой запирали рано; часа четыре надо было ждать, пока все засыпали. А до того — шум, гам, хохот, ругательства, звук цепей, чад и копоть, бритые головы, клейменные лица, лоскутные платья, всё — обруганное, ошельмованное... Помещалось нас в остроге всего человек двести пятьдесят — цифра почти постоянная. Одни приходили, другие кончали сроки и уходили, третьи умирали» [там же]. Конечно, перед нами описание каторжного барака, но изображение быта аристократов и богачей у Достоевского ничуть не радостнее. Вот, например, каким видит князь Мышкин дом купца Рогожина: «Дом этот был большой, мрачный, в три этажа, без всякой архитектуры, цвета грязно– зеленого... И снаружи, и внутри как– то негостеприимно и сухо, все как будто скрывается и таится, а почему так кажется по одной физиономии дома, было бы трудно объяснить. Архитектурные очертания линий имеют, конечно, свою тайну» [1, Т. 8, с. 195]. А ведь Парфен Семенович Рогожин – богач, живущий на одной из самых роскошных улиц Санкт-Петербурга, о которой Макар Девушкин из «Бедных людей» сказал так: «Шумная улица! Какие лавки, магазины богатые; все так и блестит и горит, материя, цветы под стеклами, разные шляпки с лентами. Подумаешь, что это все так, для красоты разложено – так нет же: ведь есть люди, что все это покупают и своим женам дарят. Богатая улица! Немецких булочников очень много живет... Сколько карет поминутно ездит; как это все мостовая выносит! Пышные экипажи, стекла, как зеркала, внизу бархат и шелк; лакеи дворянские, в эполетах и шпаге. Я во все кареты заглядывал, все дамы сидят, такие разодетые, может быть, и княжны, и графини...» [1, Т. 1, с. 75].

Так какой же была Гороховая улица на самом деле: такой, какой ее видел Девушкин или такой, какой она представлялась князю Мышкину? Наверное, разной... «Здесь жил К.Ф. Рылеев, здесь служил в петербургской палате уголовного суда И.И. Пущин, здесь заканчивал оперу «Руслан и Людмила» М.И. Глинка, здесь, в ресторане Дюме, много раз бывал Александр Сергеевич Пушкин... Правда, здесь же Александр Сергеевич познакомился с Дантесом...», – пишет Иван Пырков и выдвигает мысль о существовании у улицы Гороховой сознания и подсознания [2]. То есть у легендарного топонима, как у человека, может быть контролируемое, ясное сознание, представленное зданиями в стиле классицизма, дорогими ресторанами и магазинами, и может быть весьма темное, и даже страшное подсознание, представленное, например, убийством Рогожиным Настасьи Филипповны, которое хоть и произошло только на страницах романа «Идиот», с современным домом № 43 на Гороховой связано прочно.

К чему мы все это говорим? К тому, что город Запорожье тоже, на наш взгляд, имеет сознание, представленное красотами Хортицы и Дубового гая, оптимизмом Соцгорода, проект которого получил

золотые медали на выставках в Париже и Нью-Йорке в 1932 и в 1938 гг., фонтанами и скверами проспекта Ленина и, конечно, ДнепроГЭСом, воспетым Владимиром Маяковским. Но в последнее время в поле нашего зрения стала попадать литература, которую смело можно назвать «литературным подсознанием» Запорожья. Это современная проза, в данной статье представленная именами русскоязычного *Владимира Филя* и украиноязычного *Павла Вольвача*.

Владимир Филь был талантливым публицистом и человеком интересной судьбы. Он был известен и любим запорожцами как корреспондент газеты «Наше время плюс», автор криминальных очерков и остросоциальных статей. Примечательно, что жизнь преступников Владимир Ильич (именно таким по иронии судьбы было полное имя Владимира Филя) знал не понаслышке, ибо имел за плечами уголовное прошлое, страдал алкогольной зависимостью. Но все его творчество обращено против того, через что ему самому пришлось пройти. В 2005 году Владимир Филь выпустил сборник рассказов «Запретная зона», в котором с предельной честностью, и даже жестокостью рассказал о жизни городского дна. Своих персонажей писатель охарактеризовал как «людей, проигравших главное – жизнь. Они не смогли к ней приспособиться. Другие просто отказались к ней приспособливаться. Почти всех моих друзей-товарищей той поры уже нет в живых. Кто-то трагически погиб, кто-то спился и умер. На фоне их судеб я чувствую себя долгожителем или удачливым пловцом, чудом сумевшим выплыть на поверхность, оттолкнувшись от самого дна. Я остался один. И рассказать о том мире, кроме меня больше никому...» [3].

Так каким же предстает наш город в «Запретной зоне»? Мы видим пивбары, где проходит довольно весомая часть жизни персонажей. В барах собираются завсегдатаи, часто люди с уголовным прошлым и криминальным настоящим, ведущие неспешные беседы и ценящие, как ни странно, остроумные шутки. Все они происходят из вполне благопристойных семейств, но влечит существование «садчика в печи и на тоннельные вагоны» никак не хотят. Потому что есть другая жизнь. Символами этой другой жизни часто выступают жители Кавказа: Альберты, Эдуарды, Гиви и Тенгизы, которые куда-то уезжают на машинах по своим мутным делам, знакомятся в Гурзуфе с женами «садчиков в печи» и прекрасно проводят с ними время. Трудовые свершения славного города остаются за кадром. Их как бы вовсе и не существует. И радости тоже не существует. И основной эмоцией сборника оказывается грусть.

Интересно, что довлеющая грусть характерна для определенных этапов развития русской литературы. Например, грустным можно назвать преобладающее настроение прозы А.П. Чехова, который как бы подсознательно прощался с определенной эпохой, с царской Россией, с ее блестящей культурой и социальной несправедливостью. Владимир Филь грустно прощался с советской эпохой, раскрывая попутно ее противоречия. Весьма показательным в этой связи является рассказ «Групповуха», с весьма характерным для Филя подзаголовком – «Грустный порнографический рассказ», в котором некий грустный Игнатюк грустно занимается групповым сексом с двумя совершенно чуждыми ему дамами, проходящими под кодовыми именами «первая» и «вторая»: «Вторую он не видел никогда, но много раз слышал ее имя от первой, потому что обе часто ездили в какие-то другие города, республики и страны, и чем-то там торговали. А может, наоборот, покупали. Или как-то совмещали и то и другое, поскольку туда и назад они ехали с огромными, туго набитыми сумками. Одним словом, Игнатюк был не в курсе их дел. Вторая же почему-то думала, что он в курсе, и поэтому свободно и увлеченно, закинув ногу за ногу, рассказывала про свои приключения в заморских краях, которые Игнатюку слушать было непривычно и даже стыдно. Например, последнее из рассказанных приключений состояло в том, что в одну из ее поездок в Турцию, учтивый и одновременно напористый турецкий лавочник сумел при помощи нескольких русских слов, выразительных жестов и жгуче-слащавых взглядов объяснить, что от нее требуется для получения более хороших и дешевых товаров. Будучи истинной, свободной от комплексов коммерсанткой, и обрадовавшись возможности так просто заключить замечательную сделку, а также мысленно похвалив себя за дальновидность – перед самой поездкой выкрашенные в белый цвет волосы (там любят блондинок), ликуя, и даже иногда забегая вперед припрыгивающей от ликования походкой, она отправилась с ним какую-то комнату, где слонялись еще всякие люди, которые тут же вышли. «Классный мужик», – перебив собственный рассказ, скупко прокомментировала она происшедшее между ними, и ее косоватые глаза замаслились от милых сердцу воспоминаний» [4, с. 30–31]. Игнатюк тоже, может быть «классный мужик», только вот его ракурс видения мира не совпадает с ракурсом мира турецкого лавочника, и никакого очарования в сексе с двумя разудалыми челночницами он не видит, а видит «начинающие бордоветь, как у большинства пьющих женщин, ноги» и ему «скорее неприятно, чем приятно». Случайно обнаруженная за радиатором центрального отопления газета «Советский спорт», пожелтевшая и покрытая пылью, становится своеобразным символом рассказа, в финале которого Игнатюк укладывается на еще советский, «не рассчитанный на групповой секс», диван и погружается в чтение старой газеты.

Рассказ «Групповуха» выходит за рамки только запорожского. Он затрагивает гораздо более широкую проблематику разрушения устоев, на смену которым пришла мнимая свобода. Челнокование как

общественное явление, стало определенным знаком перестроечных времен, когда люди начали массово терять работу, но взамен получили право свободного выезда за границу, что и породило уродливый мелкооптовый бизнес. Среди челноков, бороздящих просторы Китая, Турции, Польши, был широко распространен алкоголизм и сопутствующие ему проблемы. Люди буквально жили на колесах, теряя связь с близкими, но, что странно, не испытывая при этом никаких горестных переживаний. «Свободные от комплексов коммерсантки» имеют семьи, между делом вспоминают о своих мужьях и детях-двоечниках, занимаясь при этом свальным грехом с гордостью, и даже некоторым чувством превосходства над теми, кто влачит жалкое существование где-нибудь на заводе или в бюджетной организации, где зарплаты не выплачивались месяцами. Риторические вопросы «И что взамен?» и «Почему они такие сволочи?» остаются без ответа только на первый взгляд. «Грустная повесть о грустном грузчике Вите и его магазине» дает вполне исчерпывающие ответы на поставленные ранее вопросы. Именно в подсознании когда-то пылающего пролетарскими лозунгами города кроется исток дальнейшего «развратного попирания всего святого» [4, с. 37].

Действие повести происходит в период позднего социализма, когда феномен дефицита разделил людей на тех, кто доступ к дефициту имел, и тех, кто доступа к дефициту не имел, воздвигнув между ними могучий Прилавок: «Прилавок был границей, разделяющий мир на работающих в магазине, и не работающих в магазине, а также на промежуточную категорию людей, в магазине не работающих, но имеющих доступ к работающим в магазине. Работающие в магазине не любили не работающих в магазине, и смотрели на них презрительно и высокомерно. Будто знали какую-то высшую тайну, которую не могли знать посторонние, и никогда не отвечали на простодушные вопросы последних. Или отвечали, но враждебно и раздраженно, и не совсем то, о чем их спрашивали» [4, с. 47].

Маленький продовольственный магазин становится особым замкнутым миром, определенной моделью, где действуют не просто герои, а типы, снабженные постоянными эпитетами. Это надменный директор Лева, крикливая кассирша Зинаида Андреевна, говорливая продавщица Аня и грубая рабочая Марковна. Эти четверо составляют особую замкнутую группу персонажей, контролирующую труднодоступные товары. Грустный грузчик Витя ничего не контролирует и не хочет этим заниматься настолько, что даже продукты для себя лично покупает в другом магазине. Но, тем не менее, ему приходится выполнять определенные физические функции в процессе построения двух параллельных миров: «Между разговором говорливая продавщица Аня взвешивала плохую и хорошую колбасу и приказывала грустному грузчику Вите нести плохую колбасу на прилавок, возле которого ее поджидала угрюмая очередь, а хорошую колбасу прятать в раздевалку, около которой уже скапливалась радостная очередь, состоящая из близких знакомых говорливой продавщицы Ани, далеких знакомых надменного директора Левы, приятелей крикливой кассирши Зинаиды Андреевны, и закадычных друзей грубой рабочей Марковны» [4, с. 51]. Понятное дело, обитатели «угрюмой» очереди ведут по определению серое, безрадостное существование, бесконечно далекое от радостной жизни румяного водителя Толика, пошлого экспедитора Виннипуха, веселого армянина Алека и хитрого Юрия Степановича, которые периодически проникают в замкнутый мир подсознания продовольственного магазина.

Вообще, многие привычные объекты города обнаруживают в прозе Владимира Филя странное и темное подсознание. Вот, например, рабочий сцены Гарик ворует из костюмерной Музыкально-драматического театра им. В.Г. Магара убранство гитлеровского офицера и отправляется через проспект имени Ленина в «Срочное фото» с целью запечатления себя в столь «подсознательном» наряде (рассказ «Апперкот»). А вот безымянный сторож продовольственного магазина погружается в подсознание поселка со странным названием Второмайский, который действительно есть в Запорожье и носит официальное название «Второй Первомайский поселок». В рассказе «Плохо» эта часть города кажется сошедшей со страниц романа автора «Преступления и наказания»: «Плохо. Потому, что холодно. Потому, что испорчена электропроводка и нет света. Потому, что ночь, на улице тоже темно, на фонарных столбах давно разбиты лампочки, а луна слишком часто заскакивает за массивные и невеселые ключья темных, выпуклых облаков» [4, с. 62]. Тишину ночного поселка нарушает то шлягер о свечах и рояле с его «пустыми псевдофилософскими словами», «истеричный неостановимый наркотический хохот» подростков, которых, по мнению рассказчика, следует бояться, ибо их действия «безмотивны» [4, с. 64].

Характеры представителей «дна» в прозе Владимира Филя, в общем-то, соотносятся с «падшими» героями Достоевского. Волосатый из повести «Дымарь» ворует деньги у собственной жены, но ведет себя при этом гораздо более залихватски, чем деликатный, готовый перед каждым извиняться Семен Захарыч Мармеладов. Он бахвалится собственной ловкостью, да и раскаяния никакого не испытывает («Шиш тебе, сволочь, а не кулон»). И супруга его вовсе не напоминает обезумевшую от горя Катерину Ивановну, воспринимая пьянство мужа, как привычное и неизбывное зло.

Известно, что Достоевский задумывал роман «Пьяненькие», в котором собирался исследовать психологию спившихся людей. Замысел перерос в «Преступление и наказание», где тема алкогольной деградации перестала быть основной. Но Достоевского нельзя считать первооткрывателем темы пьянства в большом городе. Здесь первенство принадлежит англичанам Т. Де Квинси и Ч. Диккенсу, у которых русский писатель данную тему заимствовал. И не случайно. В 19 веке Лондон превращается в первый в мире мегаполис. Связано это было с индустриальной революцией, которая разрушила сельский уклад жизни и превратила миллионы людей в «винтики» технического прогресса. Результатом промышленного переворота стало тотальное пьянство и наркотизация населения, что и было отражено литературой. Достоевский «приспособил» британскую тему к российской действительности, усмотрев много общего в городской культуре Лондона и Петербурга. Примечательно, что в Запорожье попало в данный образный ряд. Процесс индустриализации здесь произошел лишь в 20 веке, но имел те же последствия.

Ч. Диккенс особенно пристально изучал гибель семейных традиций в лондонских трущобах и отразил данную проблему в «Очерках Боза» («Смерть пьяницы»), и даже в «Записках Пиквикского клуба», где в «Рассказе странствующего актера» алкоголик принимает свою жену за порождение дьявольских сил: «Будь она женщиной, она бы давным-давно умерла. Ни одна женщина не вынесла бы того, что вынесла она» [5, с. 55].

Алкоголик Волосатый из повести Владимира Филя «Дымарь» также неадекватен, как и спившийся актер из романа Диккенса. Но его неадекватность носит какой-то залихватский, и в то же время немисливо равнодушный характер. «Хи-и-трая, падлюка. Я как-то за ней с ножом погнался... Пока нож схватил – она в комнату. Я тоже туда. Смотрю, нет нигде. Полночи по всей хате искал. В шкаф заглядывал. Потом думаю: наверное, из окна выкинулась... Ну, и лег спать. Утром слышу: кто-то визжит под диваном. А это она, оказывается, под диван заползла, а вылезти не может, там щель всего сантиметров десять... Я поэтому и не догадался, что она там может быть, туда и собака не пролезет... Пришлось диван поднимать, перетаскивать... Лежит там, вся в пыли... Вот такая змея...» [4, с. 165].

Герой Владимира Филя сам себя сравнивает в рассказе «Капитализм» с «бездомным псом с перебитой лапой» и, так же, как и герои Достоевского, мучительно пытается найти смысл и оправдание своему пребыванию в мире, в котором ему постоянно холодно. Холодно в рассказе «Плохо», холодно и в «Неудавшемся дебюте», где холод сковывает помещение местного литературного объединения. Холод этот можно понимать буквально, но в прозе Филя он приобретает символическое значение. Это холод отсутствия смысла человеческого существования. Не случайно в рассказе «Путь Петренколенкова или 91 год неизвестной эпохи» Филь обращается к традициям Джорджа Оруэлла, выворачивая их наизнанку, создавая антиутопию общества, где каждый может быть «обвинен в предательстве интересов демократии и повешен вниз головой на собственном балконе» [4, с. 75]. В этом обществе в ходу «древнерыцарский» язык, установка делается на воскрешение «древнерыцарского» поведения, под которыми легко угадываются современные языковые и исторические проблемы Украины, но в то же время активно продвигаются новейшие формы информации, как-то «Советы эксгибиционисту», которые публикуются в местной газете со странным названием «СИГ», в очертаниях которой легко угадывается пародия на еженедельник «МИГ», единственную в Запорожье газету с давней историей, которая очень хорошо приспособилась к современному рынку. Удивительно, но неоконченный «Путь Петренколенкова» оказался пророческим. В «Советах эксгибиционисту» сообщалось, что «в данной заметке учтен опыт не только находившихся в подполье отечественных эксгибиционистов, но и эксгибиционистов западных, что ценно само по себе» [4, с. 77], а «по городу регулярно проходят шествия каких-то полубритых людей с флагами и знаменами, на которых изображены угрожающе поднятые вверх вилы» [там же]. При этом «в связи с объявлением демократии машины стали ездить не только по проезжей части, а и по тротуарам, в кино отпала необходимость рисовать новые рекламы, так как содержание фильмов успешно отражала одна и та же картинка, представляющая собой потрясающую кучу из пистолетов, карт, ножей, голых женщин, каратистов и шприцов» [4, с. 78], а в театре, наконец-то была достигнута высшая жизненная правда, благодаря максимально правдивому испражнению ведущей актрисы в оркестровую яму и выставлению местным художником на всеобщее обозрение дивана с дыркой, которая когда-то заменяла местному художнику женщину. И теперь он может об этом сказать честно и прямо, «без ханжеских умолчаний», потому что больше не боится чиновников от культуры.

«Стесняться в цивилизованных странах не принято», – грустно замечает рассказчик, и приближается, таким образом, к «почвенничеству», столь характерному для позднего Достоевского с его противопоставлением Запада и России. При этом абсолютно никакой идеализации народа, в отличие от Л.Н. Толстого, у Ф.М. Достоевского не наблюдалось. Не наблюдается и у Владимира Филя в автобиографическом цикле «На дне», вспоминающем о «диких драках на диком пляже», действительно, весьма характерных для

Запорожья советских времен, где на пляже с народным названием «Магадан» встречались вооружённые велосипедными цепями подростки для выяснения отношений «стенка на стенку».

В романе известного украинского поэта и писателя Павла Вольвача «Кляса» («Класс») – ситуация аналогична. Драки, криминальные авторитеты и просто личности, пребывающие не в ладах с законом, пьянство и наркомания оказываются в центре внимания автора. В одном из интервью Павло Вольвач так охарактеризовал собственное видение города Запорожья: «Це мільйонне індустріальне місто, заселене переважно вчорашніми селянами та їхніми нащадками. У мовному вимірі — це умовно російська лексика накладена на умовно український спосіб думання. Доволі безлика архітектура, квалітет традицій і культурного прошарку. Нечисельна «інтелекєнція», російськомовна, ясен май, і вже зовсім рідколиста національно-«швідома», зрідка вкраплені в пролетарсько-різночинницьке море. Труби, домни, газовий сморід, мордобій по святах, і не тільки. Тобто саме те місце, де з'являтися поетам. Цілком серйозно. І те, що через місто тече Дніпро, що посеред самісінького Запоріжжя лежить Хортиця, дається — хай майже невловимо — але таки дається взнаки й накладає свій відбиток. Це вам не Донбас, і тим паче — не Крим. Тут, якщо придивитися й добряче напружитися, можна відчути, що в повітрі мерехтить героїчна пам'ять. Мерехтить і поколює в кожен нерв» [6]. То есть Вольвач явно осознает двойственность Запорожья. Это с одной стороны, детище советской индустриализации, жителями которого являются потомки крестьян, частично сохранившие связь с естественным существованием, но во многом утратившие сельскую традиционность, замененную бессмысленным пьянством и такой же агрессией. С другой стороны, Запорожье – город неизбывной поэзии, стоящий на месте ярких исторических событий, на живописных берегах Днепра.

Следует отметить, что Вольвач, также, как и Филь, полностью игнорирует светлую сторону индустриального города, которая, безусловно, была и есть. Нет на страницах его романа ни южного хлебосольства, ни обильных застолий, ни вкусной кухни, ни столь характерного для запорожцев жизнерадостного коллективизма. Потому и сравниваем мы современную запорожскую прозу с урбанистическими традициями прозы Достоевского, у которого также не просматривается никакого блеска петербургской столичной жизни. Но неправдой достоевщину считать нельзя. Она глубоко правдива в своем отражении собственного, присущего только ей аспекта индустриальных центров. Вольвач дает честную картину систематического распития самогона под старыми советскими плакатами с их «лучезарными» обитателями. И для многих объектов коммунистического строительства находит Вольвач иронически опровергающую их картину. Например, есть в Запорожье поселок ДД («Дніпро – Донбас», з Дніпрогєсу біжить по дротах струм в Донецький басейн»). Название свое он получил из-за расположенной на его территории Днепровско-Донецкой энергетической подстанции. До начала горбачевской антиалкогольной кампании ДД был обычным отдаленным от центра районом частной застройки, но с 1985 г. ДД стал превращаться в «наркотический оазис», где всегда можно было купить опий, героин и марихуану, и куда бояться ездить запорожские таксисты.

Примечательно, что русскоязычный Филь и украиноязычный Вольвач происходят из одного и того же района Запорожья. Это Шевченковский район, в народе – «Шевчик», находящийся в непосредственной близости от ставших цыганскими поселков ДД, Калантыровки, Капустянки. Там процветает наркоторговля, скупка краденого и проституция. Возможно поэтому взгляд обоих авторов на наш индустриальный город столь схож и столь печален. Но есть и различия. Стиль Владимира Филья холоден и отстранен. В нем гораздо меньше, чем у Вольвача, проступает местных реалий. Язык Филья литературен и строг. Вольвач же словно проводит своеобразную экскурсию по «подсознательным» уголкам города, акцентируя внимание на «пьяном» доме, неофициальных названиях кафе и их неофициальных функциях.

«Пьяный» дом в Запорожье действительно существует и носит свое народное имя из-за необычности архитектурного решения. Заметим, что народ назвал дом именно «пьяным», а не «кривым» или «ужом», что в общем-то отражает некоторую ментальность. Существуют и народные названия кафе и ресторанов, сейчас, правда, несколько утратившие актуальность. Вольвач вспоминает кафе «Юность», больше известное под именем «Беда» (потому что там всегда можно найти «на свою жопу приключений») (Роман Павла Вольвача содержит немало отсылок к вульгарному стилистическому слою. Мы считаем возможным прямую цитацию данных моментов, так как они выполняют определенную художественную функцию), и знаменитую «Снежинку» – «Сугроб», место сбора профессиональных картежников, где действительно могли резать «за сто рублів». Следует отметить, что культура мест общественного питания в Запорожье 80-х гг. (время действия романа «Кляса») была довольно низкой, но не настолько удручающей, какой она предстает на страницах романа Вольвача. Все эти липкие и кислые забегаловки, где постоянно ощущаются «кілкі іскри небезпеки», напрямую ассоциируются с Петербургом Достоевского, наполненными вонючими распивочными с липкими столами и опухшими от пьянства лицами. Но это Петербург именно Достоевского, так сказать субъективный взгляд писателя, видевшего в первую очередь неблагоприятные стороны мегаполиса. Взгляд Вольвача также субъективен и направлен на оборотную, «подсознательную» сторону

большого города, где «в наркомани йдуть цілими родинами», что лично нам кажется преувеличением, которое, тем не менее, мы принимаем как необходимую часть художественности, то есть видим в этом закон «концентрированного зеркала».

Еще одним отличием прозы Владимира Филя от прозы Павла Вольвача можно считать стилевые перепады, которых у Филя нет. Его повествование отличается холодноватой выдержанностью с элементами черного юмора без всякого намека на положительный идеал. Проза Павла Вольвача, напротив, полна лирических отступлений, что выдает в нем поэта, а также роднит с традициями Н.В. Гоголя. Вот например, на фоне удручающей картины пустого времяпрепровождения на заводах, где «вколують, ковтаючи дими при мартенах і домнах, до пенсії точать одну й ту ж шестерню», внезапно появляются поэтические картины весны на Зеленом Яру («... знеацька розцвітають вишні, і горби й балки стоять тоді, припорошені білим, ніби на них обтрусилися хмари»). Таким образом, у Вольвача проявляется противопоставление городского неприятного уклада «з тоскністю прохідних» и сельской, близкой к природе, жизни, что, в общем-то, характерно для украинской литературы. В то же время, язык Филя отличается большей близостью к слогу запорожской интеллигенции, традиционно русскоязычной. Вольвач отражает суржик городских окраин несколько украинизируя его. Например, пресловутый «черенок от лопаты», давно ставший интернет-мемом, в исполнении Вольвача выглядит «держакотом від лопати», оружие окраинного пролетариата велосипедная цепь – «велосипедним ланцюгом», а такие важные понятия, как «нормальный пацан» и «включить счетчик» (выражение русского арго, означающее начисление пени за невыполненный карточный долг или любое просроченное денежное обязательство, данное криминальному миру) – «серйозним хлопом» и «ввімкнути лічильник», что совершенно не отражает реалий городской речи. Вольвач и сам прекрасно понимает это, хотя и без всякого удовольствия («склянка», як ніхто тут не каже, і «стекляшка», як кажуть усі). В то же время в романе «Кляса» богато представлен реальный городской фольклор и характерные, скорее, для СССР, чем для Украины, языковые клише, выражающие низовое, комическое отношение к государственным лозунгам эпохи позднего СССР. Например, «Пусть іщут негра помоложе», «Гребіть он в рот, родной завод», «Якшо ви не кенти, тоді я іспанський льотчик», «Понти для приїжджих», «Гагарін долітався, а Пушкін – дотриндівся», «Цех кузнечний, план мой встречный», которые контрастируют с официальным, висящим над проходной завода лозунгом «Доброе утро, товарищі! Желаем успехов в труде!» или характерным для советского времени пожеланием «Чистава неба, свежева хлеба...», которое вызывает у автора, похоже, приступ пароксизма. В то же время такие элементы южного суржика, как «Хто там трусе?! – Трусе воно там!», «Ну шо, ближє к телу», «Нада ж дальше шо-то думать», «чи ще що», «чи що там», «таке», «йопсель-мопсель», «братка», «мене тягали», «рог», «безпонтвий» и т.д. правдиво отражают речь запорожских спальных районов.

«Чистому небу и свежему хлебу» в «Клясе» противопоставлены «кози в золоті, небо в алмазах», также, как в гриль-баре половина, прозванная «Афганистаном» и предназначенная для «братвы» и свиты «братвы» (к которой относится рассказчик) противопоставлена «петушатне», где пропускают свою рюмку «роботяги після зміни» и пенсионеры «в матерчатих картузиках і шведках навипуск» [7, с. 65]. Но Вольвач не был бы Вольвачем, если бы и в столь неприглядной действительности не увидел определенной эстетики и не обыграл ее в русле характерных для него стилистических перепадов: «Пашок від вікна переводить погляд на стіл, заставлений пивом і всіяний золотистими очистками копченої скумбрії, брунатна гама в стилі старих голандців, серед якої сріблом поблискує фольгове блюдечко» [9, с. 31].

Герой современной запорожской прозы весьма близок к герою Достоевского, о котором М.М. Бахтин сказал так: «Герой интересуется Достоевского не как элемент действительности, обладающий определенными и твердыми социально-типическими и индивидуально-характерологическими признаками, не как определенный облик, слагающийся из черт односмысленных и объективных, в своей совокупности отвечающих на вопрос – «кто он?». Нет, герой интересуется Достоевского как *особая точка зрения на мир и на себя самого*, как смысловая и оценивающая позиция человека по отношению к себе самому и по отношению к окружающей действительности. Достоевскому важно не то, чем его герой является в мире, а то, чем является для героя мир и чем является он сам для себя самого» [10]. То есть: герои Достоевского являются не только определенными художественными личностями, и даже далеко не всегда являются личностями. Это, скорее, люди-идеи, носители определенной философской ментальности. Такая ментальность четко просматривается у Владимира Филя. Шаповалов, герой повести «Дымарь», входящей в цикл «На дне», радостно уходит в суицид в самом начале весны. Ощупывая в кармане веревку, он идет в сторону лесопосадки, ощущая прилив тепла и пробуждение природы («Радостно поблескивали лужи, прилипали к ногам комья влажной земли, глухо и часто колотилось сердце»). И нельзя сказать, что приход весны его не радует. Радует, но сливается с суицидом, со спасением от мира, где постоянно нужно чего-то стесняться, например, своего неухоженного вида как результата многодневного запоя. А самоубийство от стыда и конфузов спасает, тем более, что Шаповалов и так абсолютно одинок, он лишь наблюдатель в этом безрадостном мире, не имеющий с ним прочных связей.

Герой «Клясы», Павло, или Паулик, как называют его местные алкоголики и наркоманы, тоже чувствует себя не совсем полноценным подданным второго Шевченковского микрорайона. Его основным внутренним состоянием, так же, как и у героя Владимира Филя, является стыд. Он неуютно чувствовал себя в школе, потому что не видел доску, а носить очки стеснялся. Он стыдится облупленного кухонного пенала в кухне своих родителей («згорав колісь від сорому навіть перед наркошами»), затравленности отца, но больше всего — собственных поэтических наклонностей («В його колі віршування сприймається як щось стидне, як онанізм, наприклад»), которые неизбежно обнаружат в нем интеллигента-очкарика, которым Павло на самом деле и является, но быть самим собой не представляет возможным. Ему обязательно нужно быть «пацаном», то есть своим парнем в компании картежников, натирающих мозоли не за унылым (как кажется Павлу) забором завода «Искра», а в кафе «Снежинка» («Сугробе»), где умелые шулеры «правильно» тасуют колоды и достигают «высокого» мастерства в «вольтах», то есть приемах обмана «слаборозвиннутих хлопів». И вот здесь мы сталкиваемся с некоторой общностью творчества Владимира Филя и Павла Вольвача, несмотря на абсолютную противоположность их воззрений на мир. Эта общность продиктована, если хотите, интеллектуальной развитостью. Ни герой Филя, ни герой Вольвача не чувствует себя полностью «своим» в этой жизни. Если Шаповалову постоянно «холодно» из-за собственной чисто созерцательной позиции, то Павло, вроде бы, принимает некоторое участие в общественной жизни, и даже общественной борьбе. Он посещает перестроечные митинги, но они не захватывают его полностью: «Там справді важливе, тільки переважно одне і те ж» [9, с. 19]. Склонность к аналитическому восприятию мира мешает Павлу принять перестроечную действительность на веру. Он отмечает «пластичність» товарищей по борьбе как признак их зависимости от внешних авторитетов, которыми на этот раз становятся представители Западной Украины («Дехто навіть слова почав на галицький манер вимовляти»). Несмотря на все изуверство родного города, ему хотелось бы остаться его частью: «Він тутешній. Тутешніший за багатьох» [9, с. 20].

Достоевский дал одному из своих героев фамилию Раскольников не случайно. Большинство созданных им личностей «расколоты», их внутренняя жизнь и поступки неоднозначны. Один и тот же человек может быть преступником и одновременно поражать высотой духа. Именно от произведений Достоевского происходит представление о загадке русской души, никогда не проявляющей себя однозначно. Герой Вольвача мыслит по-украински, но его противоречия очень близки к многозначному состоянию русского духа. Он, вроде бы, и патриот, «обожженный» поэзией Евгения Маланюка («Сила вирішує все... Сила і зятятість... Як у Маланюка»), лелеющий мечь одному из лидеров русского движения на Украине Павлу Баулину, и в то же время — человек, который не может принять без колебаний современную украинскую действительность: «стійну роздвоєність Пашок відчуває на рівні вже майже фізичному. Неприкайність вічна — там, тут, кругом. Навіть у Львові, навіть там він це через якийсь час відчув, зрозумівши свою інакшість із тамтешнім галицьким людом» [9, с. 76]. И если в прозе Владимира Филя символическим смыслом наделяется пожелтевшая газета «Советский спорт», то в прозе Вольвача таким смыслом наделяются долларовые банкноты, изъятые у случайно ограбленного на улице человека: «З кожної купюри дивились якісь старомодні діячі в овальних рамочках, а в очі кинувся надпис THE UNITED STATES OF AMERICA» [9, с. 85]. Надпись на банкноте графически выделяется самим автором и, думается, не случайно. Она напоминает надпись на камне, который заслоняет собой мир Запорожстали и «далеких труб», без которых, по признанию отца Павла, «України не збудуєш» [там же].

Владимир Филь был убежденным противником Перестройки, не принесшей, по его мнению, обществу ничего, кроме деградации. Он ненавидел лицемерие политиков, за громкими патриотическими фразами которых усматривал лишь шкурный интерес и безнадежный цинизм. Павло Вольвач, наоборот, сторонник новой Украины, основанной на национальных корнях. Ему претит все «кацапское» и все «савецкое», связанное в его восприятии с насилием над свободным самовыражением человека. Но оба автора выступают разоблачителями «псевдозеківської романтики», которая буквально пропитала когда-то мозг обитателей рабочих окраин. «... в тюрмі тоже жить можна. Все там є — і дружба, й виручка. Ліш би ти пацаном був путьовим», — говорит один из блатных в «Клясе», ну а Владимир Филь рассказывает о хорошо знакомых ему местах без всякого романтического глянца. Как, например, в рассказе «Шапка» из цикла «На дне», где действие происходит в одном из спальных районов Запорожья, где «по пустырю гулял сырой и влажный ветер, едва различались втоптаные в скользкую грязь осколки кирпичей, обломки досок, и поблескивали, отражая свет из дальних пятиэтажек, бесформенные лужи» [4, с. 90]. Там правят «грозные авторитеты», «короли микрорайонов», под власть которых попадают двое трудных подростков, Доля и Комар. Но «радость от того, что они стали настоящими блатными», быстро сменяется угнетающим и «отвратительным ощущением несвободы», потому что теперь нужно совершать кражи не по собственному хотению, а по воле патронных воровского мира, которые, вроде бы, и не дают особо на школьников, но своим магнетическим влиянием вселяют в них чувство воровской чести, рвущей нормальные социальные связи, выбрасывающей из привычной среды в мир «беспредельных типов» и «подлых, бешеных негодяев», с которыми Комару и Доле придется встретиться уже в тюрьме.

Какой же можно сделать *вывод*? Отнюдь не оскорбительный для Запорожья. Скорее, наоборот: наш город, так же, как Лондон и Петербург, обладает «сознанием» и «подсознанием», что делает его не простым местом обитания. Наш город — личность, и так же, как человек, противоречив и сложен. В нем нашлось место и дымящим трубам, породившим городские окраины, которые Павло Вольвач сравнивает с бразильскими фавелами и неаполитанскими трущобами, что весьма поэтично. Но нам кажется, что городские окраины постсоветских промышленных городов ближе по своей ментальности к лондонскому Ист-Энду, где всегда селились иммигранты, раньше из сельских районов Англии и Ирландии, сейчас — из бывших колоний. Там всегда процветал кокни (cockney), особый вариант английского языка, близкий по социальным маркерам к нашему суржику, ну и, конечно, пьянство и насилие. Но от этого ни Лондон, ни Петербург не стали менее интересными. Наоборот, внутренняя противоречивость этих городов пробудила интерес к ним талантливых писателей и сделала местом открытия новых горизонтов искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: В 30 т. / Ф.М. Достоевский / Под общ. Ред В.Г. Базанова. – АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом). – Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1972-1990 .
2. Пыркoв И. Вечная улица русской литературы. [Электронный ресурс] / Пыркoв И. : Издательский дом «Глобус». – Режим доступа: <http://globus64.ru/articles/357.html>
3. Рекомендация 33: «Запретная зона» Владимира Филья. [Электронный ресурс]: Зеркало Запорожья. – Режим доступа : <http://www.zerkalo.net.ua/news/244.html>
4. Филь В.И. Запретная зона / Владимир Филья. – Запорожье: РА «Тандем – У», 2005. – 176 с.
5. Диккенс Ч. Посмертные записки Пиквикского клуба. Главы I – XXIX / Чарльз Диккенс. – М. : Правда, 1981. – 480 с.
6. Павло Вольвач: «Щоб стати письменником, треба багато чого не вміти» [Электронный ресурс]: Розум. – Режим доступа : <http://rozum.info/publ/7-1-0-99>
7. Вольвач Павло Кляса (роман) // Кур'єр Кривбасу. – 2003. – № 162 (травень). – С. 47– 110.
8. Вольвач Павло Кляса (роман) // Кур'єр Кривбасу. – 2003. – № 163 (червень). – С. 3– 72.
9. Вольвач Павло Кляса (роман) // Кур'єр Кривбасу. – 2003. – № 164 (липень). – С. 14– 88.
10. Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского [Электронный ресурс]: Библиотека «Вехи». – Режим доступа : <http://www.vehi.net/dostoevsky/bahtin/02.html>

УДК 821. 161. 2 Малик - 3.09 : 159. 9

ЗАСОБИ ПСИХОЛОГІЗМУ В РОМАНІ В. МАЛИКА «ГОРИТЬ СВИЧА»

Дорофеева А.В., здобувач

Запорізький національний університет

Стаття містить комплексне дослідження форм, засобів і прийомів психологізму в романі Володимира Малика "Горить свіча", особливу увагу приділено таким засобам вираження художнього твору, як внутрішній монолог, спогади, риторичні питання і вигук, взаємна характеристика героїв.

Ключові слова: роман, форма психологізму, засіб психологізму, внутрішній монолог, художня деталь.

Дорофеева А. В. СРЕДСТВА ПСИХОЛОГИЗМА В РОМАНЕ В. МАЛИКА «ГОРИТ СВЕЧА» / Запорожский национальный университет, Украина

Статья соержжит комплексное исследование форм, средств и приемов психологизма в романе Владимира Малика «Горит свеча», особенное внимание уделено таким средствам усиления выразительности художественного произведения, как внутренний монолог, воспоминания, риторические вопросы и восклицания, взаимная характеристика героев.

Ключевые слова: роман, форма психологизма, средства психологизма, внутренний монолог, художественная деталь

Dorofeeva A. V. METHODS OF PSYCHOLOGISM IN VOLODYMYR MALYK'S NOVEL "CANDLE BURNS" / Zaporozhye National University, Ukraine